



## «Я» и «Другие» в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина

© О. Г. ЛАЗАРЕСКУ,  
доктор филологических наук

Рассматриваются «Письма...» Карамзина как первый опыт художественного метода, в котором центр оценки мира отдается не одному субъекту, а распределяется между многими участниками художественной реальности, отношения между которыми определяют жанрово-стилевое своеобразие произведения. Реализация этого метода проявляется на таких структурных срезах, как сюжет, композиция, система персонажей, стиль. Модель отношений «Я» и «Другие», представленная в произведении, дала очертания нового типа культурной личности, определившей универсальный, «вселенский» характер русской литературы.

*Ключевые слова:* фокусный центр, точка зрения, личность, сюжет, композиция, персонаж, стиль, жанр.

The article considers Karamzin's «Letters...» as the first experience of the artistic method that has the focus of appreciation of the world belonging not to a single person, but being shared by numerous members of artistic reality, whose interrelationships determine genre-stylistic particularity of the literary work. Implementation of this method is analyzed using such structural sections as plot, composition, system of characters, and style. The model of relationships between «Me» and «Others» presented in the writing provided the outlines of a novel type of a cultured individual that had predetermined the universal, «oecumenical» nature of Russian literature.

*Key words:* focal center, point of view, personality, plot, composition, character, style, genre.

Карамзиноведение давно утвердилось в мысли об особом, «экспериментальном характере повествовательных форм и повествовательной фактуры» произведений Карамзина [1. С. 23], а идейной почвой авторского языка писателя считается «естественность и изящная простота» [Там же. С. 53], «установка на частную независимую жизнь ...

на выключенность из «искусственной» иерархии ценностей, навязываемой государственной службой и бюрократической карьерой», и, в целом, установка на важнейшую ценность – «ценность личности ... ее самость, неповторимость, те качества, для которых Карамзин нашел новое слово – «оригинальность»» [2. С. 214].

Свобода и «пластичность» в мировосприятии и мироотношении проявили себя не только как оригинальность в личном поведении («многообразие поведений, их смена как норма поэтического отношения к жизни» [Там же. С. 337]), но и неизбежно влекли за собой поиски особых форм воспроизведения действительности.

У Карамзина они сочетались с тем, что в литературоведении определяется как «фокусный центр точек зрения»: «... русская литература до Пушкина характеризовалась фиксированностью выраженной в произведении точки зрения» [3. С. 419] – «схождение всех выраженных в тексте субъектно-объектных отношений в одном фиксированном фокусе» [Там же. С. 418]. Как отмечает Ю.М. Лотман, до Пушкина «количество возмозрений в литературе точек зрения было невелико, они были читателю заданы его предшествующим литературным опытом, и всякое отклонение художественного текста от какой-либо точки зрения означало для читателя неизбежность вовлечения его в систему с другой фиксированной структурой. (...) В искусстве XVIII в., традиционно определяемом как классицизм, этот единый фокус выводился за пределы личности автора и совмещался с понятием истины, от лица которой и говорил художественный текст. (...) В романтической поэзии художественные точки зрения также радикально сходятся к жестко фиксированному центру... Центр этот – субъект поэтического текста – совмещается с личностью автора, становится ее лирическим двойником» [Там же]. Такому типу художественной структуры противостоит пушкинский метод, когда «художественные точки зрения не фокусируются в едином центре, а конструируют некое рассеянное пятно-субъект, состоящее из различных центров, отношения между которыми создают дополнительные художественные смыслы» [Там же].

Очевидно, что пушкинскому методу смешения разных «фокусных центров», позволявшему достичь эффекта «иллюзии реальности», предшествовал карамзинский метод, который «отрабатывал», хотя и в рамках «одного фокусного центра», «единой точки зрения» – чувствительного автора и чувствительного героя – опыт естественной, «правдивой», отвергающей условные правила, имитирующей неорганизованность, пластичной художественной структуры.

Напряжение между «фокусным центром», эксплицированным в жанровой форме писем путешественника, и субъектно-объектными отношениями внутри писем, определяет жанрово-стилевое своеобразие «Писем русского путешественника» Карамзина, внесшего вклад в общую

логику развития литературы как движения к свободе от жестких форм и «фиксированных структур».

Отношение «Я» и «Другие» является генерализующим – стягивающим, объединяющим структурные «срезы» «Писем...», прежде всего, композиционный, сюжетный, персонажный, стилистический.

Симптоматично взаимоотражение начала и финала «Писем...»: первые абзацы первого и последнего писем включают в себя почти одинаковое количество местоимений «Я» и «Вы» и их падежных форм: «Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!» [4. С. 28]; «Берег! Отечество! Благословляю вас! Я в России и через несколько дней буду с вами, друзья мои! {...} Вы знаете, что трудно найти город хуже Кронштата, но мне он мил! Здешний трактир можно назвать гостиницею нищих, но мне в нем весело!» [С. 483]. Такой же высокий уровень концентрации указанных местоимений отмечается и во всем первом и последнем письме. А относительная бессистемность употребления местоимений в тексте «Писем...» в целом оттеняет почти математически выверенное соответствие их в первом и последнем письмах.

При этом маркером обретенного путешественником духовного опыта становится выбивающийся из установившейся схемы отношений концепт «Другие». «Фокусный центр» («Я»), хотя и не сливающийся полностью с «Вы», но предполагающий духовно-нравственную близость, отдает свое пространство «Другому», «Другим» – тем, кто найдет в этих «эскизах» «нечто приятное». О «Других» говорится в вероятностной модальности: «может быть, и другие...». Финальная фраза предполагает такое отношение этих «Других» к «Письмам...», которое невозможно предугадать, направить, проконтролировать: «Но это их, а не мое дело» [Там же].

В начале XX века А. Ухтомский, ученый и богослов, упрекал Карамзина в том, что его «Письма...», имея «много хороших философских мыслей», тем не менее, не открыли «глаза современникам на действительность жизни тогдашней Европы», потому что «центр тяжести все время во внутреннем душевном мире путешественника, многое во вне остается им незамеченным ... и если оставить в стороне его описательные элементы, мы читаем у Карамзина лишь его *мысли* и *идеи*, возбужденные в нем теми или другими местами» [5. С. 124]. Во многом такой оценке способствовали декларативные замечания самого Карамзина, заявлявшего, что его «Письма...» – это «зеркало» его души «в течение осьмнадцати месяцев»: «Оно через 20 лет ... будет для меня еще приятно – пусть для меня одного! Загляну и увижу, каков я был, как думал и мечтал; а что человеку (между нами будь сказано) занимательнее самого себя?» [С. 483].

Однако на уровне недеklarативном – на уровне поэтики – Карамзин создает произведение, в котором художественная структура ориентирована на принцип, который тот же Ухтомский определил как «доминанта на лицо другого» [5. С. 41]: «Суть ее в том, чтобы “уметь конкретно подойти к каждому отдельному человеку, уметь войти в его скорлупу, зажить его жизнью”, рассмотреть в другом не просто нечто равноценное тебе, но и ценить другого выше собственных интересов, отвлекаясь от предвзятостей, предубеждений и теорий».

В письме от 1 июня 1789 года представлен эпизод, в котором два немца бранят от скуки русский народ. «Фокусный центр» немцев раскрыт в ряде аргументов – представлении о том, что русские не умеют говорить на иностранных языках и о том, что один из них, побывав в Голландии, приобрел там много новых знаний: «Поверьте мне, государь мой, в Роттердаме я сделался человеком!» [С. 37]. Точкой перехода «Вы» («друзья») в «они» («Другие») становится мысль путешественника «про себя» в конце эпизода: «Хорош гусь!». Попутчики-немцы – это те «Другие», которым отдается возможность иной точки зрения. А дискредитация их поспешных выводов о русском народе подается не в форме спора путешественника с немцами, которые судят о русских, «побывав только в пограничном городе», но в форме объективного течения жизни: оказывается, немцы, не зная иных иностранных языков, кроме своего, вынуждены прибегнуть к помощи русского путешественника-переводчика, чтобы общаться с попутчиками: «Немец, который в Роттердаме стал человеком, уверял меня, что он прежде совершенно знал французский язык и забыл его весьма недавно» [Там же]. Тон легкой иронии в этом пассаже сменяется горечью в пассаже о «нашем так называемом *хорошем обществе*», в котором «без французского языка будешь глух и нем», то есть о русских, которые в прямом и переносном смысле стали «Другими» – «попугаями» и «обезьянами»: «Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? Зачем быть попугаями и обезьянами вместе? Наш язык и для разговоров, право, не хуже других» [С. 422].

Аналогичен и эпизод со стариком-трактирщиком в Керлине, заявившим, что в случае войны он боится не австрийских гусаров, а русских казаков: «О! Что это за люди! (...) Ничто не уйдёт от их пики. К тому же у них такие страшные лица, что меня по коже подирает, когда вообразу их!» [С. 57]. И опять дискредитация позиции «Другого» отдается не субъективному мнению путешественника, а самим обстоятельствам жизни: «“Да вот русский казак!” – сказал капитан, указав на меня. “Русский казак!” – закричал трактирщик и ударился затылком в стену. Мы все засмеялись, а трактирщик заохал».

Конечно, отношение «Я» и «Другие» у Карамзина нередко облечено в отрицание их точки зрения, но именно она нужна путешественнику как интеллектуально-духовный импульс в оценке мира: «Я не

поблагодарил бы судьбы, если бы она велела мне всегда жить с такими людьми» [С. 58]; «Ах, друзья мои! Человек, который десять, двадцать лет может пробыть в чужих землях, между чужими людьми, не тоскуя о тех, с которыми он родился под одним небом, питался одним воздухом, учился произносить первые звуки, играл в младенчестве на одном поле, вместе плакал и улыбался, – сей человек никогда не будет мне другом!» [С. 219]. Побывав у русского консула в Кёнигсберге, путешественник с удовлетворением отмечает про себя, что тот, много прожив в немецком городе, «однако же нисколько не обгерманился и сохранил в целостности русский характер» [С. 47].

Однако во множестве писем помимо описательно-информативного начала присутствует условное драматургическое «ядро» – иногда поданное со слов рассказчика, иногда в виде диалогов различных лиц – столкновение противоположных позиций, взглядов, мнений. Но независимо от содержания споров заканчиваются они почти всегда одинаково. Результат всех столкновений – не победа в споре, не торжество, не доминирование, не манипулирование, а дистанцирование и сохранение «самости» для себя и «Других». Это касается как случайных попутчиков путешественника, так и тех, к кому он направлялся с заранее поставленными целями. Так, спор между поручиком из Тильзита, утверждавшим, со слов племянника, который, якобы, служит адъютантом у князя Потёмкина, что при взятии Очакова «пятнадцать тысяч легло на месте», и путешественником, который знает, что «турков убито около 8000, а русских 1500», заканчивается равным удалением от позиции другого. Со стороны путешественника – фразой «Как вам угодно, господин поручик», со стороны поручика – «Ваше здоровье, государь мой!» [С. 42].

Подобная модель взаимоотношений воспроизводится и во встречах с представителями интеллектуального слоя – философами, писателями. Так, уже при встрече с Кантом вырисовывается принцип взаимоотношений «неприятели» – «добрые люди»: в разговоре с Кантом о Лафатере «коснулись до его неприятелей. “Вы их узнаете, – сказал он, – и увидите, что они все добрые люди”» [С. 46]. Сам Лафатер поражает путешественника «редкой душевной твердостью» – он не платит бранью тем, кто бранит его жестоко: «... человек, который, поступая согласно с своею совестью, не смотрит на то, что думают о нем другие, есть для меня великий человек» [С. 161].

Даже курьезы, с которыми не единожды сталкивается путешественник, – спор за место в коляске в Данциге между офицером, молодым французским купцом и магистром; попутчик-капитан, оскорблявший миролюбивое сердце путешественника неистовыми криками: «Нам нужна экзерциция, экзерциция!»; старая женщина из Шведской Померании, узнавшая, что путешественник – русский, закричала: «Ах злодеи! Вы губите нашего бедного короля!» и т. д.: все события завершаются

либо дружным смехом, либо переключением внимания на нейтральные объекты. «Наконец, я заметил, что взялся за работу Данаид; замолчал и обратил всё свое внимание на приятные окрестности дороги»; «Офицеры смеялись, и я смеялся, хотя не совсем от доброго сердца» [С. 50; 52].

Установившийся характер взаимоотношений «Я» и «Другие» во многом отражает уже отмечавшуюся исследователями общую задачу Карамзина создать «культурную личность, которой еще в жизни не было»: «Его воображению рисовался дворянский интеллигент пушкинской эпохи. Карамзин обращался к аудитории, которую еще *предстояло* создать. И эту работу по созданию нового типа культурной личности должны были выполнить тексты Карамзина ... в особенности, “Письма русского путешественника”» [б. С. 230].

Образ культурной личности нового типа несет, прежде всего, сам повествователь, сочетающий в себе «высокий уровень идей» и «бесхитростного путешественника, описывающего все, что попадает ему на глаза» [Там же. С. 231]. Стилистически это выражается в обрывках фраз, недоговоренностях, подвижности словесных групп. Так, письмо из Мейсена от 13 июля включает в себя философский спор о душе и теле между путешественником, в поисках доказательства бессмертия апеллирующим к сердцу, и «прагским» студентом, апеллирующим к доказательствам, основанным на «понятиях чистого разума». Позиции непримиримые, а спор не имеет перспективы разрешения. Концентрация философской проблематики возрастает с включением в спор Лафатера – посредством цитаты из его труда: «Тут вынул я из записной книжки своей одно письмо доброго Лафатера и прочитал студенту следующее...» [С. 91]. Однако спор об истине, включающий в себя послышки и аргументы, обрывается фразой извне, свободной от любых абстракций: «“Госпожи и господ! Извольте обедать!”

Мы вошли в трактир, где уже накрыт был стол. Нам подали пивной суп с лимоном, часть жареной телятины, салат и масло, за что взяли после с каждого копеек по сорок» [Там же].

Стилистическая «пластичность» в «Письмах...» связана не только с резкими переходами различных стилистических групп, но и со способностью путешественника зафиксировать ироническую проекцию серьезных событий, споров. Ироническим отражением спора об истине становится разговор тех же – о женщинах, их коварстве, несчастной любви и т. д., а также чуть не доходящий до драки философский спор других попутчиков – магистра с лейпцигским студентом: «Тут магистер шумел с лейпцигским студентом о теологических истинах. Сей последний предлагал разные сомнения. Магистер брался всё решить, но, по мнению студента, не решил ничего. Это его очень сердило. “Наконец я должен вспомнить, – сказал он, потирая рукою свой красный лоб, – что

некоторые люди совсем не имеют чувства истины. Головы их можно уподобить бездонному сосуду, в который ничего влить нельзя; или железному шару, в который ничто проникнуть не может и от которого всё отпрыгивает...» – «И такие головы, – прервал студент, – часто бывают покрыты рыжими париками и торчат на кафедрах»» [С. 92–93].

Ученый педантизм, возведенный в ранг высокого философского спора, оборачивается комической сценой, завершающейся совместным пением вечерней молитвы – «диким голосом ... они, как добрые ослы, затащили такое дуо, что надобно было зажать уши. – К счастью, певцы скоро унялись; в коляске всё замолкло; и я заснул» [С. 93].

Так, отношение «Я» и «Другие» реализуется одновременно в нескольких направлениях: как столкновение субъектов с разным жизненным опытом и культурным кругозором, как столкновение, спор в области абстрактных понятий, теорий, концепций, как столкновение абстрактных теорий с реальной действительностью, как столкновение серьезного, «умственного» восприятия жизни с комическим, игровым. Культурная личность нового типа может соединять в себе все эти направления, «фокусные центры», что и определяет сложность «повествовательной фактуры» произведения.

Такая «всеотносимость» [С. 168] новой культурной личности распространялась и на область взаимоотношений с читателем. Как отмечал Ю. М. Лотман, Карамзин «хотел, чтобы читатель увидел в “русском путешественнике” не Ментора, учителя с недостижимым уровнем мудрости, а обычного человека, с которым мог бы сравнить себя» [С. 231] – «обыденная жизнь и обыденный человек получали своего литературного – следовательно, “благородного”, культурно значимого – двойника» [Там же. С. 232].

При этом Карамзин сохраняет баланс между отзывчивостью культурной личности относительно разных взглядов, позиций, «фокусов» бытия и осознанием того, что далеко не всегда она может найти «симпатическое сердце» [С. 260], способное на такую же отзывчивость, что «многолюдство больших городов» [С. 415] лишь обостряет ощущение уединенности. Однако путешественник убежден – «человек сам по себе есть фрагмент или отрывок: только с подобными ему существами и природою составляет он целое» [С. 264], он есть «пылинка, которая с мириадами других атомов обращается в вихре предопределенных случаев» [С. 415].

Как представляется, в модели отношений «Я» и «Другие», давшей очертания нового типа культурной личности, кроются условия универсализма русской литературы, ее близость и понятность людям разных культур, тот «дух “вселенскости”», который поставил ее в один ряд с европейскими образцами [7. С. 365]. Сама же жанровая основа писем путешественника позволяла установить такое соотношение «элементов

собственно повествования, рассказа о лицах и событиях, изобразительных, характерологических, динамически драматизированных» [8], которое соответствовало задаче раскрытия всей сложности взаимоотношений человека и мира и определяло жанрово-стилевое своеобразие произведения.

Это делало жанровую основу писем путешественника, как и частную переписку, новым и важным художественным ресурсом: «... в XVIII в. в определенной среде и при определенных обстоятельствах имеют хождение письма, которые становятся не только исключительно личным, частным, сугубо практическим делом, но и приобретают характер общественного явления ... становятся фактором литературы с рядом вытекающих из этого последствий» [7. С. 15–16].

В таком масштабе задача открыть «глаза современникам на действительность жизни тогдашней Европы», которую вменяли впоследствии Карамзину, была неглавной, так как выводила «Письма...» из сферы литературы в другие области, подчиняла их утилитарным целям, упрощала и выпрямляла неуловимый мир художественного образа.

### *Литература*

1. *Гаспаров Б.М.* Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. СПб., 1999.
2. *Лотман Ю.М.* Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 2001.
3. *Лотман Ю.М.* Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1997.
4. *Карамзин Н.* Письма русского путешественника. Библиотека русской художественной публицистики. М., 1983. Далее указ. только стр.
5. *Ухтомский А.* Лицо другого человека. Из дневников и переписки. СПб., 2008.
6. *Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. М., 1987.
7. *Топоров В.Н.* Из истории русской литературы. Русская литература второй половины XVIII века: Исследования, материалы, публикации. Т. II. Книга III. М., 2007.
8. *Сорокин Ю.С.* Язык и стиль карамзинской прозы в оценке современников и последующих поколений (180 лет с начала споров вокруг «нового слога») / Очерки по стилистике русских литературно-художественных и научных произведений XVIII – начала XIX в. СПб., 1994. С. 55.

*Работа поддержана грантом РГНФ № 15-04-00494 «Н.М. Карамзин. Энциклопедический словарь»*

*Московский педагогический  
государственный университет*